

О.Е. ОСОВСКИЙ *(Саранск)*

ОДИНИЗУЕХАВШИХ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА НИКОЛАЯ БАХТИНА

За последние годы имя Николая Михайловича Бахтина (1894–1950) не раз привлекало внимание отечественных литературоведов и историков культуры российского зарубежья¹. Однако нет оснований утверждать, что литературно-критическая мысль продвинулась хоть бы чуть дальше самых первых шагов в постижении творчества этого самобытного философа, критика и поэта, литературоведа и даже автора оригинального учебника греческого языка². Остается во многом актуальным относительно давнее высказывание М.О. Чудаковой: «Вырисовывается несколько биографических и историко-литературных тем: Н. Бахтин в печати — главным образом в "Звене" и "Числах"; его стихи; университетская деятельность; идеологическая эволюция»³. Следует лишь добавить, что появление подробного биографического очерка-портрета Н. Бахтина отчасти проливает свет и на некоторые повороты судьбы и мысли М.М. Бахтина в самый малоизученный и «темный» — ранний — период его жизни (опубликованные беседы последнего с В.Д. Дувакиным могут служить тому наиболее убедительным подтверждением), тем более что Михаилу довелось «присвоить» некоторые эпизоды из жизни старшего брата для своих «официальных» жизнеописаний⁴. Сошлемся и на авторитетное мнение авторов первой научной биографии М.М. Бахтина, американских славистов К. Кларк и М. Холквиста: «Важнейшую роль в семье для Бахтина играл брат Николай. Отношения между двумя братьями оказали решающее воздействие на Бахтина в детстве и во многом сформировали его. Николай был наиболее важным "другим" из всех, с кем Михаилу приходилось когда-либо встречаться. Понятие "другого" стало

основополагающим в философских системах обоих братьев. Свои чувства к Михаилу Николай выразил в стихотворении 1924 г., написанном в Париже и адресованном "одному из оставшихся". В нем он определял свои отношения с братом как с "достойным оппонентом", если воспользоваться более поздним термином самого Михаила»⁵.

Для того чтобы понять реальное место и значение Н. Бахтина в интеллектуальном пространстве русской эмиграции, следует сказать несколько слов о его до- и послепарижской жизни. После окончания в 1912 г. Виленской Первой гимназии Н.М. Бахтин переезжает в Одессу, где уже несколько лет проживает все семейство Бахтиных, и поступает на первый курс филологического факультета Новороссийского университета. Литературная деятельность Бахтина-гимназиста (в течение нескольких лет он редактировал общегимназический журнал и даже выступил в качестве автора драмы с выразительным названием «Ex Oriente Lux»)»⁶ и его хорошая общая подготовка (убедительным подтверждением чему может служить опубликованная В.И. Лаптуном его выпускная письменная работа «Только роман отражает жизнь наиболее полно»⁷) явно позволяли студенту рассчитывать на нечто более серьезное, нежели обучение в провинциальном, хотя и весьма неплохом учебном заведении. Поэтому год спустя Н. Бахтин переводится на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где ему предстоит встреча с друзьями по Виленскому лицу. Он активно включается в литературную жизнь столицы Российской империи, становится одним из самых любимых учеников выдающегося эллиниста Ф.Ф. Зелинского и одновременно свидетелем и участником многочисленных философских и литературных мероприятий. Бахтин, по свидетельству друга его юности М.И. Лопатто, нередко бывал в «Бродячей собаке», общался с представителями петербургской богемы, водил дружбу не только со «старыми» символистами (Вяч. Ивановым, Д. Мережковским и З. Гиппиус), но и с Кузминым, Мандельштамом, Гумилевым и другими любопытными стихослагателями⁸. Думается, петербургская активность Бахтина в немалой степени обеспечила тот радушный прием, который был оказан ему в Париже несколько лет спустя частью русской эмиграции.

В 1916 г. Н. Бахтин добровольно уходит в армию. Судя по архивным разысканиям С.С. Конкина и утверждениям С.Р. Федякина, он оканчивает краткосрочные курсы при Николаевском кавалерийском училище и, получив офицерский чин, отправляется в один из гусарских полков действующей армии⁹. Несколько иная версия представлена в мемуарах Н. Бахтина: «Когда разразилась первая, Февральская, революция, я находился на фронте - рядовой гусарского полка на Буковине»¹⁰. Трудно сказать, что более соответствует истине, хотя последующее пребывание Н. Бахтина в Белой армии явно не в качестве рядового, о чем скороговоркой он упоминает в очерке «Русская революция глазами белогвардейца», скорее свидетельствует в пользу версии саранского исследователя. Упомянутый же очерк создавался, судя по всему, в конце 1930-х гг., когда Н. Бахтин занимал все более левые, крайне радикальные позиции и решительно пересматривал свое отношение к событиям на родине. Возможно, осязательное творческое начало подтолкнуло его к написанию новой, достаточно романтизированной «солдатской» биографии. Как бы то ни было, в июле он покидает армию и возвращается в Петроград, где вновь приступает к литературно-философским занятиям, выступая с философскими докладами, в частности на квартире у Ф.Ф. Зелинского. Затем следуют Октябрьский переворот, голод, в январе 1918 г. бегство в Крым. В Ялте он случайно встречает своего полкового командира и отправляется на Кавказ, где в октябре 1918 г. вступает в Добровольческую армию, вернувшись в тот же самый полк, в котором служил в Первую мировую (правда, по численности полк этот поначалу был равен эскадрону). Н. Бахтину довелось принимать участие в боях, дважды переболеть тифом в 1919 г., вернуться в строй, пережить разгром Белой армии и ее беспорядочное отступление.

Затем начинается обычная жизнь молодого эмигранта, поиски работы. Попробовав труд матроса, он решает вновь вернуться к ратному труду — подобно многим соотечественникам вступает в Иностраннный легион и отправляется в Алжир. Здесь он прослужил три года, подставляя голову под пули кочевников, а на четвертом году, по свидетельству близко знавшей Н. Бахтина Ф. Уилсон, получил тяжелейшее ранение: пуля пробила легкое, рана же в руку оказалась настолько опасной, что бравого легио-

нера спасли лишь срочная эвакуация в госпиталь на аэроплане и мастерство хирурга¹¹. После девяти месяцев лечения в 1924 г. он выходит в отставку и перебирается в Париж.

«Военный крест с пальмовыми листьями» за воинскую доблесть и боевой опыт оказываются не слишком большим подспорьем в новой жизни. Бахтин очень быстро оставляет должность мелкого клерка на каком-то из военных складов, пробует десятки случайных работ, вплоть до сбора урожая в провинции, но все безуспешно. «В Париже неделями приходилось сидеть на спитом чае и нескольких сигаретных окурках, — будет вспоминать Бахтин много лет спустя. — Болезненность сохраняется день или два, затем чувство голода исчезает и остается только слабость, к которой примешивается легкая эйфория»¹².

Впрочем, одиночество длится недолго. В Париже обнаруживается немалое количество старых друзей и знакомых. Очерк об Иностранном легионе становится своего рода маленькой сенсацией в жизни «русского Парижа», а Н. Бахтин — одной из наиболее заметных фигур эмигрантского общества. Наряду с работой в «Звене» он выступает с многочисленными лекциями перед соотечественниками. Примечательно свидетельство М.Л. Кантора: «Бахтин часто посещал собрания литераторов и дружил со многими русскими писателями. Он постоянно посещал салон Мережковских. И Мережковский, и его супруга (Зинаида Гиппиус) относились к Бахтину с огромным уважением. Дмитрий Мережковский с энтузиазмом выслушивал философские и эстетические теории Бахтина и воспринимал его чуть ли не как пророка, провозглашающего новую концепцию жизни... Вне всякого сомнения он был одним из самых великих ораторов»¹³. «Горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина» будет вспоминать много лет спустя И. Одоевцева¹⁴, а наиболее точно определит место Н. Бахтина в «русском Париже» В.С. Варшавский в книге, посвященной младшему, по определению автора, «незамеченному поколению» русской эмиграции: «...не все "молодые" были всегдатаями Монпарнаса и первое место на Монпарнасе и в "парижской школе" принадлежало не "молодым", а литераторам не намного старшим, а то и вовсе не старшим, но успевшим получить, по словам Н. Ульянова, "литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы". Кроме Н. Берберо-

вой и Р. Гуля, о которых упоминает Н. Ульянов, к этой группе принадлежали Г. Адамович, Ю. Анненков (Темирязев), Н. М. Бахтин, В. Вейдле, Г. Гершенкрон, В. Злобин, Г. Иванов, К. В. Мочульский, И. Одоевцева, Н. Оцуп, М. Слоним и Г. Струве. Многие из них были постоянными участниками монпарнасских встреч¹⁵.

Практически сразу начинается сотрудничество нашего героя с изданием «Звено», выходящим в Париже с 1923 по 1928 г. поначалу в качестве еженедельника, а затем «толстого» журнала под редакцией П. Н. Милюкова и М. М. Винавера (после смерти последнего его место занял М. Л. Кантор). Уже самый первый литературный опыт Бахтина в еженедельнике — очерк об Иностранном легионе — произвел фурор в среде русских эмигрантов. Очевидно, успех молодого литератора сыграл немалую роль в решении М. М. Винавера пригласить его в состав сотрудников журнала. Предполагалось, что он будет отвечать за философский отдел. В некрологе, опубликованном в «Новом русском слове», Г. Адамович так вспоминал об этом периоде: «Я познакомился с ним очень давно и помню его еще по Петербургскому университету. В те годы его считали поэтом, но поэзию он в зрелости, кажется, оставил... В эмиграции на него обратил внимание покойный М. М. Винавер и пригласил его сотрудничать в еженедельнике "Звено". Бахтин написал несколько статей, блестящих и замечательных, но написал и другие, вызывающие по тону, малоубедительные по содержанию...»¹⁶.

Творческие опыты Н. Бахтина на страницах журнала можно разделить на несколько групп: это, во-первых, рецензии на книги и статьи русских и французских авторов, затем литературно-художественные очерки и, наконец, философские диалоги. Каждый из этих жанров представлен немалым количеством весьма выразительных образцов, позволяющих судить не только о глубине мысли автора, его способности проникать в замыслы рецензируемых писателей и философов, но и красотах и выразительности бахтинского стиля. При этом, думается, Н. Бахтин интересен и как рецензент, для которого каждый из отзывов превращается в развернутый монолог на тему, заданную рецензируемым изданием, и как самобытный мыслитель, реализующийся в собственном художественно-философском творчестве.

Издательская политика редакции «Звена» состояла в предоставлении максимальной свободы своим авторам в выборе тем и сюжетов. Так, наряду с Н. Бахтиным о французской литературе писали К. Мочульский и Д. Лейс, о Ницше и современной российской литературе — Г. Адамович и др. Уже первые рецензии, публиковавшиеся Н. Бахтиным на страницах еженедельника (в частности, рецензия на книгу А. Моруа «Диалоги о командовании», 1924, близкую по духу его собственному очерку об Иностранном легионе), свидетельствуют об осознанной «пристрастности» рецензента, о его симпатиях к вполне определенному типу философско-интеллектуальной прозы. В том же, 1924 г. он публикует статью, посвященную 80-летию со дня рождения Ф. Ницше, которым оба брата увлекались еще в пору ранней юности¹⁷. «Влияние Ницше в прошлом не исчерпывается, конечно же, одним вульгарным ницшеанством. Одну из его книг принимали и ценили за ее выдающиеся качества: это «Рождение трагедии». Основная ницшеанская концепция культуры, и в особенности античной культуры, уже давно стала всеобщей ценностью... такие же концепции, как аполлоновский и дионисийский принципы, дух музыки, сократизм, декадентство, критический и органический периоды культуры и т.д., часто подвергались сомнению и тем не менее укоренялись надежно и надолго в нашем сознании»¹⁸. Примечательно, что для Бахтина фигура Ницше оказывается неразрывно связана с Достоевским, изучению творчества которого уделил столько внимания его младший брат, в то время как сам Н. Бахтин предпочитал «толстовскую линию» в русской литературе. Примечательно, что привязанность к Ницше сохранится у Н. Бахтина весьма надолго: он не только напечатает два года спустя рецензию «Ницше и музыка»¹⁹, но и использует, уже пережив духовную эволюцию в сторону марксизма, реплику из писем Ницше в финале своей статьи «Классическая традиция в Англии», написанной в 1939 г.: «Только те, кто создает будущее, имеют право объяснять прошлое»²⁰.

Среди философских текстов, привлекающих внимание Н. Бахтина, — «Три реформатора» крупнейшего французского мыслителя-неотомиста, ученика А. Бергсона — Ж. Маритена; «О началах. Бог и тварный мир» Л.П. Карсавина; «Константин Леонтьев» Н.А. Бердяева. Заметно, что сравнительно молодой рецензент

не испытывает особого трепета перед признанными авторитетами. Особенно хорошо это видно из его рецензий на книги русских философов. Немецкая философская (кантовская) традиция, в духе которой он воспитывался в гимназические годы и во время учебы в Петербургском университете, позволяла видеть широкий духовно-эстетический контекст, из которого вырастала книга Карсавина, и одновременно говорить об ограниченности и недостаточности подобной философской почвы. «Русская религиозная мысль, причастная — через культ — духу восточного богословия, всегда была отмечена гностическим дерзновением; она не могла и не хотела стать умаленным, теоретическим познанием сущего, — отмечает Бахтин. — Но, вместо того чтобы непосредственно — сквозь полтора тысячелетия — связать себя с родственной традицией эллинно-христианского богопознания, она искала осознать и закрепить себя в чуждых ей формах западной философии, — ломая их, умаляя себя... Так, не имея силы дорасти до подлинного гносиса и не желая стать просто отвлеченным знанием, она оказалась не то дурной неприятной философией, не то трусливым гносисом. В частности, губительно было для русской мысли — от Хомякова до Вл. Соловьева — влияние германского романтического идеализма»²¹.

Неожиданно резкий тон и в немалой степени несправедливые обвинения объясняются характерной для этого поколения философски образованных литераторов неприязнью к тому, что М.М. Бахтин пренебрежительно называл «Свободным мыслительством»²².

Впрочем, если посмотреть непредвзято и отбросить крайности выражений, можно расслышать и созвучие реплики Бахтина оценкам, которые были даны русской философии начала Серебряного века через десять лет недолгим однокашником Н. Бахтина по Новороссийскому университету прот. Георгием Флоровским²³. Не оставив камня на камне от книги Карсавина (это чуть ли не единственный известный нам опыт рецензии-«разноса» в практике Н. Бахтина), он тем не менее подчеркивает, что сама по себе проблема «остается в полной силе». «В духовной истории человечества, — полагает он, — все значительное было создано не теми, кто сознавал себя продолжателями наличной традиции или зачинателями новой, но теми, кто умел связать себя с

забытой, утерянной традицией прошлого, минуя, отвергая ближайшее (и это "ближайшее" может насчитывать тысячелетия)»²⁴.

Совершенно по-иному оценивает рецензент книгу Н. Бердяева о К. Леонтьеве, воздавая должное как автору, так и «объекту» его внимания: «Леонтьев — старший современник Ницше (о котором он и не знал) сумел по-своему дорасти до того трагического постижения жизни, которое — впервые после двухтысячелетнего забвения — раскрыл нам энгадинский отшельник»²⁵. Все, что отсутствовало у Карсавина и служило потому поводом для осмеяния, обнаруживается в книге Бердяева, где «есть нечто иное и лучшее, чем мертвая объективность: живое, любовно-требовательное общение с мыслителями»²⁶. Но напрасно читатель ждет подробного изложения содержания бердяевского исследования. Книга вновь оказывается лишь поводом к разговору. Автору куда важнее изложить собственное видение фигуры К. Леонтьева и определить его позицию в русской философии, нежели излагать мнение Бердяева. При этом Бахтину, как и его герою, особенно близки слова последнего, цитируемые в рецензии: «Единой правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть; при человеческой правде люди забудут божественную истину». Трагическое провидение русского мыслителя становится созвучным трагедии, пережитой бахтинским поколением, лишившимся волею судьбы Отечества. «Радостное приятие жизни со всей ее трагической безысходностью» — вот единственный рецепт спасения, который автор вслед за Леонтьевым может предложить своему читателю. Именно из этого вытекает и бахтинское обращение к леонтьевскому отказу от «поддельного единства "абсолютной морали"» и его философии культуры. Диагноз разложения и кризиса, поставленный Леонтьевым европейской культуре, начиная с XVIII в., оказывается как нельзя более точен и по отношению к культуре современной Западной Европы (о чем Бахтин еще напишет), но и мечта мыслителя о противопоставлении разлагающемуся Западу, опирающаяся на византийские традиции Руси, также несбыточна. Это понимал сам мыслитель, это 35 лет спустя подтвердила реальная русская история. Но здесь Н. Бахтин словно спохватывается, как бы вспоминая о своих обязанностях рецензента, завершая поток собственных размышлений элегантным пассажем: «Но я не могу подробней остановиться здесь на

этой "философии культуры", исключительной по глубине и оригинальности. О ней читатель найдет ряд прекрасных страниц в книге Н. Бердяева²⁷.

Еще более выразительно рецензионный канон разрушается в очерке «Пять идей». Поводом к его написанию послужило появление статьи Макса Шелера, провозгласившей отход автора от «того своеобразного и глубокого обоснования католичества, которое дало ему столько ревностных учеников и последователей», к «философской антропологии»²⁸. Подобное изменение позиции Шелера представляется Бахтину столь значительным, что он фактически предлагает читателю беспристрастный пересказ основных положений вводной статьи. «...Сквозь бесчисленные оттенки современных утверждений, — замечает Бахтин, — Шелер различает пять основных и определяющих идей о человеке. Три из них являются общим достоянием, и мы невольно опираемся на одну из них всякий раз, когда высказываем что-нибудь о человеке или истории. Две — гораздо более новые; они, может быть, уже давно "носятся в воздухе", но последовательно развиты лишь в новейшей, в частности в немецкой, философии»²⁹. Первая идея — «иудейско-христианский миф о сотворенном человеке и смысле его бытия», вторая — существующая в философии со времен Сократа и Платона и подвергшаяся незначительной модификации у Гегеля идея «человека разумного» со всеми ее достоинствами и недостатками. Третья идея, зародившаяся в лоне позитивизма, распадается впоследствии на три ветви и на три типа натуралистических концепций истории. Это марксизм с «борьбой классов», «борьбой за место у корыта» (инстинкт питания), фрейдизм с его инстинктом размножения и восходящая к Гоббсу и Ницше трактовка истории сквозь призму «воли к власти». Четвертая идея — это «страшная для чувствования и западного мышления», по выражению Шелера, идея декаданса, а пятая — сформулированная немецкими неокантианцами Н. Гартманом и Д.Г. Керлером, приравнивает человека Божеству, образуя, по словам рецензента, «странную и жуткую смесь мертвого протестантско-кантовского морализма с дерзновением служителя Дионисова — Ницше». В финале следует уже знакомое нам интригующее обращение к читателю: «Ни к одной из них (перечисленных выше идей. — *0.0.*) Шелер не примыкает,

и идея, которая должна лечь в основу его собственной "Антропологии", несомненно представляется ему как существенно новая, шестая идея»³⁰.

Заметим, что обращение Н. Бахтина к фигуре и идеям М. Шелера и сопровождающему последние европейскому философскому контексту само по себе неудивительно и легко объяснимо. Но в ситуации с нашим автором оно приобретает особое звучание. Перед нами пример предельно обостренного, синхронизированного «неслышного диалога» двух братьев, ибо Шелер остается и одним из наиболее интересных «собеседников» М.М. Бахтина во второй половине 1920-х гг. «Мною было прочитано, — свидетельствует он на допросе, — два реферата о Максe Шелере, современном немецком философе-феноменологе. Первый реферат был об исповеди»³¹. Упоминания о Шелере встречаются в нескольких работах младшего Бахтина; в частности, во «Фрейдизме» он говорит о «самом влиятельном философе наших дней, главном представителе феноменологического направления, *Максе Шелере*», которому, как следует из сноски, будет посвящена специальная глава в готовящейся к печати книге «Философская мысль современного Запада»³².

Несколько по-иному подходит Н. Бахтин к оценке художественных и литературоведческих текстов. Определяется ли это симпатией к авторам, какими-то иными причинами, но в подавляющем большинстве подобного рода откликов прочитывается стремление представить писателя и его творение в максимально благоприятном свете. Откликаясь, к примеру, на выход «Тайны трех» и «Рождения богов» Д. Мережковского, он настойчиво подчеркивает присутствие в этих работах нового взгляда на далекое прошлое. «Всякое осознание былого (равно в плане личном и историческом), — замечает Бахтин, — роковым образом неадекватно. Есть какая-то коренная недоступность и невыразимость того, что раз совершилось и отошло в прошлое»³⁵. Для читателя, как представляется рецензенту, Мережковский-писатель остается прежним, хорошо знакомым, однако несомненно большая усложненность и глубина его произведений, позволяющих предположить о возможном приближении нового этапа в творчестве писателя.

С немалым энтузиазмом отзывается молодой критик и на публикацию французского перевода «Древнегреческой религии»

Ф.Ф. Зелинского. «Эта небольшая книга, исполненная ясности и простоты, — пишет он, — одна из тех немногих книг, которые способны равно волновать и знатока-эллиниста, и читателя, не посвященного в царственное "искусство медленного чтения" — филологию»³⁴. Для него Зелинский не просто учитель, оказавший немалое влияние на своего ученика в юности. Главное для него сейчас то, что «величайший из эллинистов наших дней» оказывается и одним из провозвестников и идеологов «Третьего возрождения», связанного с пробуждением новой славянской культуры. И хотя события последних лет несколько отодвинули перспективы наступления «нового Ренессанса», труды Зелинского по-прежнему работают на ее реализацию в будущем. Впрочем, «самый драгоценный дар Ф.Ф. Зелинского славянскому возрождению и русской культуре, — убежден автор, — это его перевод Софокла, снабженный совершенно исключительными вводными статьями: труд, равно которому не имеет ни одна из европейских литератур»³⁵.

Свою деятельность рецензента Н. Бахтин продолжает и в «новом» «Звене», превратившемся в «Ежемесячный журнал литературы и искусства». Правда, публикуется он здесь в этом качестве гораздо реже, что, видимо, объясняется изменением установок редколлегии, которая отдает теперь предпочтение не столько оперативности материалов рецензионно-библиографического характера, сколько их общественной и художественной значимости. Так, поводом к публикации рецензии Н. Бахтина на недавнее появление книги П. Валери «Вечер с господином Тестом» (1896, публикация общедоступного издания — 1926) явилось не только пристрастное отношение к данному автору самого рецензента (по свидетельству уже упоминавшейся нами Ф. Уилсон, в рабочем кабинете Н. Бахтина висел портрет Валери), но и избрание поэта в состав Французской академии. При этом публикация эссе Валери оказывается для Н. Бахтина прекрасным основанием для разговора о творчестве Валери в целом, о той эволюции, которую переживает поэт с конца прошлого столетия по настоящее время. «"M. Teste" не только аллегория "чистого сознания", — предупреждает он читателя, — он еще и существенный этап в развитии своего создателя. Он — один из аспектов его личности, как бы ее отрицательный полюс. И еще: он тот

мыслимый предел, к которому тяготеет Валери в первый период своего творчества, — период, завершившийся двадцатилетним молчанием. В этом молчании всецело повинен Тест; только нейтрализовав в себе его влияние, Валери мог вновь вернуться к литературе»³⁶. Н. Бахтин не мог, естественно, не осознавать всей ответственности последнего заявления. Потому-то рецензия содержит подробный разбор не только позиции «Валери-Теста», но и причин, побудивших поэта и мыслителя к выходу за пределы двадцатилетнего молчания, поставленные «чистым сознанием». По мнению Бахтина, «новый» Валери умело обошел поставленную перед ним проблему отказа от собственно чистого созерцания в пользу самоосуществления. «Слегкостью теперешний Валери разрешает задачу, оказавшуюся роковой для Валери-Теста. Творчество вновь становится для него возможным при условии быть творчеством по внешним поводам. Поэт сам об этом настойчиво напоминает»³⁷. Н. Бахтину подобный легкий выход не представляется чем-то украшающим талантливого творца, ибо находится в явном противоречии с русской классической традицией «ответственности литературы», о чем он подробно напишет в своем последнем тексте «русского периода» — статье «Разложение личности и внутренняя жизнь», где еще раз подчеркнет тот ощутимый разлад во внутреннем мире европейца, особенно характерный для французского общества второй половины 1920-х гг.³⁸

Последним, думается, в немалой степени продиктовано и обращение Н. Бахтина к книге Ж. Бенда «Измена клерков», автор которой «пытается романтически реставрировать убудочный тип "чистого клерка"». Этим словом он обозначает человека, безраздельно посвятившего себя служению духовным ценностям и отказавшегося от всякого активного участия в жизни. Измена современных клерков заключается в том, что духовные ценности утеряли для них чисто отвлеченный и внежизненный характер; «клерки захотели действовать, стали притязать на руководство жизнью»³⁹. Не слишком высоко оценивая художественные достоинства рецензируемого издания, Н. Бахтин обращает внимание на симптоматику самого выведенного в нем явления, типичного для Франции с конца XIX в. Попытки писателя отстаивать сугубую духовность («сладенький университет-

ский идеализм») в противовес действительной активности реальной личности вызывают у Н. Бахтина не только ироническую усмешку, но и искреннее возмущение. Тем более что эта «недавняя выдумка» сопровождается поиском мифических корней в далеком прошлом, вплоть до античной Греции. Финал рецензии становится апофеозом живого, активного начала: «...На наших глазах слагается новый, более активный и мужественный, духовный тип. Но психология чистого клерка далеко еще не изжита, она еще не утратила для некоторых своего обаяния и может вызывать сочувствие даже в такой карикатурно-упрощенной форме, в какой мы находим ее у Бенда»⁴⁰.

Собственное художественно-философское творчество Бахтина, как отмечалось, представлено по преимуществу жанром философского разговора, достаточно традиционного для отечественной философской публицистики середины XIX — начала XX в. (от А. Хомякова до С. Булгакова). Причину обращения к разговору как форме изложения собственных идей лучше всего, кажется, объяснил в предисловии к «Трем разговорам» Вл. Соловьев: «Этою формою случайного светского разговора уже достаточно ясно указывается, что здесь не нужно искать ни научно-философского исследования, ни религиозной проповеди. Моя задача здесь, скорее, апологетическая и полемическая: я хотел, насколько мог, ярко выставить связанные с вопросом о зле жизненные стороны христианской истины, на которые с разных сторон напускается туман, особенно в последнее время»⁴¹.

Правда, у Бахтина форма философского разговора используется не только в размышлениях о сугубо возвышенных материях, но и в беседах на филологические темы, по-прежнему близкие автору. Таков «Разговор о переводах», где Поэт, Филолог, Философ и Дама, по-гоголевски «приятная во всех отношениях»⁴², ведут спор о переводах Катулла, выполненных Поэтом. Поэтическая, философская и филологическая ипостаси автора распадаются на отдельные голоса (Даме отведена роль традиционного Простака), хотя, думается, Бахтину все же ближе позиция Философа. Поэт отстаивает свое право на «модернизацию» перевода римского поэта. Для него существование дистанции между далеким прошлым и сегодняшним настоящим представляется стеной на пути подлинного прочтения Катулла как совре-

менника, филолог же, напротив, отстаивает точность и историческую адекватность перевода, его дословность как «единственный твердый критерий»⁴³. Позиция философа наиболее решительна и бескомпромиссна: он вообще подвергает сомнению необходимость создания переводов: «Перевод не нужен уже просто потому, что это подделка (хотя бы и крайне искусная). И если переводы умножаются с каждым днем, то в этом сказывается стремление нового времени — вместо ограниченной и интенсивной культуры — к бессмысленному и пустому расширению. Вместо того чтобы подлинно знать немногое, мы предпочитаем заполнять зияющую пустоту нашей скуки дешевыми подделками всех культур, всех веков, всех литератур. Мы страдаем каким-то чудовищным интеллектуальным зудом...»⁴⁴ Некую умиротворяющую ноту вносит в своей финальной реплике Дама, поддерживающая поэта в его праве на творческую интерпретацию, которая рождает в душе «непонятное волнение».

Античные одежды окутывают и «Похвалу смерти», один из наиболее ярких в художественном отношении и выразительных диалогов Бахтина. Проблема смерти, столь актуальная для европейской и русской философии начала века⁴⁵, встает здесь во весь рост, отягощенная собственным трагическим опытом автора, прошедшего через Первую мировую и Гражданскую войны, службу в Иностранном легионе. Оттого-то страшны в своей простоте и безыскусности слова одного из героев, гостей на пиру: «Есть простое правило проверить подлинность своей жизни. Спросить себя: то, что я чувствую и думаю теперь, осталось бы оно в силе, если бы я знал, что сегодня наступит смерть? Продолжал бы я делать то, что делаю? И так спрашивать — всегда, во всем. Я называю это: мерить верною мерою смерти»⁴⁶.

Проблема противопоставления трезвой рациональности живой полноте жизни находится в центре разговора «О разуме», который ведут между собой Дама, Философ, Поэт и господин X. Если последний, только что закончивший чтение своей рукописи, выступает обличителем рационального познания, в чем его поддерживает и Поэт, то позиция Философа совершенно однозначна: «Я знаю в себе разум — гордый, стремительный, неприимимый в своем мужественном требовании последней ясности и последней строгости»⁴⁷. Дама, как всегда, выступает несколь-

ко ироническим посредником между собеседниками, пытаюсь показать несуразность принятия крайних позиций, хотя ей больше повкусустрогие рассуждения Философа, нежели эмоционально-выспренные речи Поэта. Да и большинству читателей куда больше понравилась бы подобная речь увлекшегося спором Философа: «Словом, вы хотите строить свою личность как бы извне, искусственно урезывая и извращая составляющие ее силы. А не думаете ли вы, что только до конца свободный и до конца верный себе разум может войти в подлинное органическое единство? Неужели вы не чувствуете, что, изменяя себе, он тем самым изменяет и вам? А если вы боитесь, что — свободный — он нарушит вашу цельность, то недорого же стоит эта цельность, которую надо держать в вате и всячески предохранять от резких толчков. Повторяю, вы стремитесь поуютнее приютиться в каком-то укромном уголке и — вопреки вашему пафосу — ничего героического в этом нет»⁴⁸.

Завершается сотрудничество Н. Бахтина с журналом «Звено» (исключительно по причине закрытия последнего) выразительным текстом, который без сомнения можно поставить на одну ступень с образцами лучшей философской прозы Западной Европы 1920-х гг., как по замыслу, так и по поэтичности. «Четыре фрагмента (Мудрость осязания. — Отказ от безмерности. — Форма как ступень обреченности. — Сожжение и бальзамирование трупов)» становятся своеобразным итогом литературно-философского творчества Н. Бахтина в это десятилетие, вбирая в себя большую часть тем и сюжетов, отражавшихся в прежде опубликованных текстах.

«Лист бумаги на моем столе, — размышляет Бахтин. — Ровная, замкнутая, белая поверхность, явственная для моего взгляда и для осязающих прикосновений моей руки. Таким я его знаю, таким хочу. Таким я знаю и хочу весь этот мир — простой и светлый дом, где столько ясных вещей раскрыто моему взгляду и желанью: как это небо за окном и луч солнца на моей руке, как та улыбка, о которой я сейчас вспоминаю»⁴⁹.

Еще одна примечательная черта Н.М. Бахтина, заметно выделявшая его даже в живописной среде русских парижан, — несомненный ораторский дар. Бахтинские циклы лекций, читавшиеся им для достаточно ограниченной аудитории, в частности че-

тыре выступления под общим заголовком «Современность и эллинизм» (1927), стали подлинным явлением в культурной жизни «русского Парижа». «Его лекции о Греции и ее духовном наследстве, — писал под непосредственным впечатлением от услышанного Г. Адамович, — увлекли, скажу даже, очаровали присутствующих. Увлекала убежденность, стройность, сила мысли, глубокий пафос ее, и очаровывали те "высоты", к которым она была направлена. Историческая тема оказалась современной. Бахтин говорил об эллинизме, но, по существу, он страстно проповедовал о единственно "интересном" — о жизни и судьбе человека. И столько вложил он в свою проповедь огня, столько непримиримости, что, право, "в наш равнодушный век" эти мало обычные лекции почти ошеломляли»⁵⁰.

Вряд ли оратор мог тогда подумать, что именно уроки Ф.Ф. Зеллинского и давние занятия античностью (вкуче с репутацией превосходного лектора и яркого полемиста) сыграют решающую роль в его дальнейшей судьбе. Весной 1928 г., как свидетельствует Ф. Уилсон, известный славист, профессор Бирмингемского университета С.А. Коновалов, к тому моменту только-только создавший Славянское общество, пригласил Н.М. Бахтина на пять месяцев в Бирмингем для чтения лекций и занятий со студентами. Несмотря на довольно слабое знание английского, после трех месяцев пребывания на островах наш герой принимается за чтение Шекспира в подлиннике и в конечном итоге в достаточной степени овладевает языком, постепенно доведя знание его до полного совершенства⁵¹. Трудно сказать, насколько первое посещение туманного Альбиона предопределило позднее решение Бахтина перебраться туда из Франции, но можно предположить, что первые благоприятные впечатления (включавшие в том числе и многочасовые прогулки по горным тропам, и пикники в живописных деревушках и т.п.) свою роль сыграли.

В последующие несколько лет Н.М. Бахтину предстояло завершить свое образование в Школе восточных языков, получить степень лиценциата и защитить диплом по современному греческому языку, совершить в 1929 г. поездку в Грецию и принять участие в раскопках (если верить М.М. Бахтину, чуть ли не на знаменитом Марафонском поле⁵²). В начале 1930-х становится все очевиднее, что возможность получения постоянной работы (даже при всеоб-

шем признании бахтинского таланта) становится все более прозрачной, к тому же раздражают бытовая неустроенность и неприкаянность. Не случайно последняя из опубликованных по-русски статей, появившаяся в четвертой книге «Чисел», называется «Разложение личности и внутренняя жизнь».

Стоит ли удивляться, что нарисовавшаяся в конце 1920-х «английская перспектива» представлялась Н.М. Бахтину все более привлекательной. В 1932 г. он поступает в Кембриджский университет, где через три года защищает диссертацию «Происхождение мифа о кентаврах и лапифах в Фессалии XIII в. до н.э.». Репутация Бахтина-античника уже в эти годы достаточно весома — по крайней мере, свою вторую поездку на раскопки в Грецию, как раз в район некогда существовавшей Фессалии, он совершает на средства, выделенные Кембриджским университетом. В блестящем очерке «Греческий север» он мастерски соединил ощущение «седой старины» с тонким пониманием сегодняшнего дня современной Греции во всей ее непростоте и разноречивости.

Чуть забегаая вперед, заметим, что именно эта уникальная способность увидеть в современном состоянии явления его древнейшие корни и истоки (чему он, вне всякого сомнения, был обязан школе Зелинского) обеспечила Бахтину симпатии и уважение английских коллег. Несколько позднее он попытается реализовать попытку восприятия языка современного в контексте его древнего, архаического состояния в своем «Введении в изучение современного греческого языка», изданном в Бирмингеме за счет автора в 1935 г. «Насколько я помню свой первый контакт с современным греческим языком, — пишет он в книге, — выглядело это примерно так. Я подходил к нему <современному варианту>, конечно же, при помощи древнегреческого языка как единственно возможного — в этом я нисколько не сомневался — ключа. Но вместо того чтобы обнаружить единство, на существование которого я так рассчитывал, я вдруг очутился между двумя мирами: один знакомый, но весьма далекий, в котором и были сосредоточены все мои интересы, и второй, только что открывшийся и все более занимавший меня, однако ничего общего с первым не имевший. Эти два мира никак не хотели сливаться воедино — в течение длительного времени они оставались абсо-

лютно несвязанными... Мне пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы объединить их, углубиться и в тот, и в другой, дабы они наконец встретились»⁵³. В подобной реконструкции при желании несложно усмотреть явную близость с тем, что продельвает примерно в то же время и чуть позднее М.М. Бахтин, проводя деконструкцию народной смеховой культуры в творчестве Рабле, не говоря уже о концепции «большого времени» в его поздних работах.

Не случайно младший брат в известных разговорах с В.Д. Дувакиным весьма сочувственно объясняет главный принцип, реализованный в книге старшего: «...он подходит к современному греческому языку сквозь призму древнегреческого языка. Его основная идея та, что, в сущности говоря, гораздо больше, чем в археологии, чем в известных нам произведениях древнегреческой литературы, классических, гораздо больше настоящей древности, не, так сказать... неприкрашенной, не подчиненной каким-либо концепциям, содержащимся в новогреческом языке. Новогреческий язык с точки зрения археологии как бы не изучали»⁵⁴.

Вообще, чуть отклоняясь от темы нашего исследования, заметим, что случайных и неслучайных созвучий в жизни братьев, о чем, собственно, уже не раз говорилось, было более чем достаточно. Все та же Ф. Уилсон, с научным наследием М.М. Бахтина, естественно, не знакомая, вспоминая о первых месяцах знакомства с Н.М. Бахтиным, пишет: «...с немалой долей почтения мы вдруг осознали, что у нашего философа гаргантюанский аппетит и самое серьезное отношение к пище и вину (даже в самых дальних деревушках Уэльса он ухитрялся отыскать сабли или свое любимое красное бургундское)»⁵⁵. Еще более выразительный, но на этот раз уже сознательно карнавализованный в духе идей М.М. Бахтина образ представлен в романе известного английского литературоведа Т. Иглтона «Святые и ученые» («Saints and scholars», 1987), название которого являет собой узнаваемый парафраз выражения «Saints and sinners» — «святые и грешники».

Принимая во внимание последующие извивы судьбы Н.М. Бахтина, нельзя не обозначить и некоторые моменты его «идеологической эволюции» (М.О. Чудакова), заметного изменения его политических симпатий (провидчески предсказанных в репли-

ке по поводу «Похвалы смерти» З. Гиппиус⁵⁶). Оказавшись в Кембридже начала 1930-х, он попадает в совершенно новую среду левых интеллектуалов, среди которых и Л. Витгенштейн, и Дж. Томсон, что, в свою очередь, ведет и к заметному полевению взглядов бывшего участника Белого движения, в самый разгар Второй мировой войны, по ряду свидетельств, вступившего в английскую компартию и даже державшего портрет Сталина на стене⁵⁷. Так что не приходится удивляться появляющейся в конце 1930-х гг. фразе в воспоминаниях «Русская революция глазами белогвардейца»: «Опыт Испании показал, что все потенциальные лидеры реакции должны быть безжалостно уничтожены в самом начале; кровь небольшого количества людей предотвратила бы пролившиеся затем потоки крови миллионов»⁵⁸.

1935 год складывается для Бахтина как нельзя более удачно. Он успешно защищает диссертацию, женится на Констанс Пэнтлинг, с которой был знаком еще по Парижу (к сожалению, браку этому не случилось быть счастливым до конца), получает место преподавателя классической филологии в Университетском колледже в Саутхемптоне. Три года спустя он переходит в Бирмингемский университет, с которым связана вся его последующая жизнь. Можно предположить, что среди тех, кто сыграл решающую роль в появлении Н. Бахтина на новом месте, были не только его близкий друг, известный филолог-античник Дж. Томсон и коллеги последнего, но и все тот же профессор С.А. Коновалов, а также декан славянского отделения Е.М. Винавер, младший брат покойного редактора «Звена».

При этом научные интересы Н.М. Бахтина, судя по материалам, опубликованным в посмертном сборнике «Лекций и статей», продолжают поражать своим разнообразием. Помимо собственно античных штудий (значительных работ, посвященных проблеме культа «Матери-Земли» и его соперничества с богами-олимпийцами или соотношению философских систем Аристотеля и Платона, в его планах так и осталось нерезализованным детальное исследование платоновского «Кратила»), он интенсивно разрабатывает принципиально новые сюжеты: так, чтение Шекспира и подробное знакомство с английской литературой явно не проходят для него даром, выливаясь в исследования «античного компонента» в английской словесности, в частности

античных мотивов, в «Троиле и Крессиде» и даже в разработку концепции «динамического реализма» (в духе Аристотеля) в драме. Особая, до сих пор практически неизвестная, страница связана с переходом Бахтина на должность преподавателя языковедческих дисциплин, своего рода подступ к разработке, по свидетельству О. Данкан-Джоунса, новой теории языка⁵⁹.

Увы, этим планам сбыться было уже не суждено. По свидетельству друзей, последние годы Н.М. Бахтин пребывает в состоянии душевного кризиса и внутреннего разлада. И дело, видимо, не только в том, что «фонтан бахтинских идей уходил в песок»⁶⁰, достойных учеников не находилось, а талант исследователя и лектора явно не был востребован в полной мере. Очевидно, самым роковым образом на здоровье не слишком молодого и физически уже не очень крепкого человека сказались и изменения во внешней и внутренней политике. Пришедшая на смену «второму фронту» «холодная война», приближающаяся с каждым днем «охота на ведьм», хотя и не имевшая таких масштабов, как в США, но тем не менее грозящая достаточно серьезными неприятностями, семейные неурядицы — все это в конечном счете и стало причиной смерти Бахтина от внезапного сердечного приступа 9 июля 1950 г.

Остается лишь добавить, что на протяжении 1930–1940-х гг. Бахтин не оставлял работу и над лекциями по русской классической и современной литературе: от наследия Пушкина и Л.Н. Толстого до поэзии символистов и творчества Маяковского. Правда, они так и оставались подготовительными записями к устным выступлениям и были опубликованы друзьями автора через много лет после его смерти совершенно мизерным тиражом.

Перебравшись в Англию, Н. Бахтин на многие годы как бы уходит из поля зрения российского зарубежья. Смерть, похвалу которой он пропел в вызвавшем столько споров эссе, вдруг вернула его в то, казалось, почти утраченное единое интеллектуальное пространство русской эмиграции, после Второй мировой войны по-прежнему существующее, пусть в более скромном варианте, по обе стороны океана. Не кто иной, как Г. Адамович, к друзьям и единомышленникам Н.М. Бахтина отнюдь не принадлежавший, в «Новом русском слове» публикует некролог с выра-

зительным названием «Памяти необыкновенного человека», где дает необычайно высокую оценку многочисленным талантам покойного⁶¹.

Судьба Н.М. Бахтина выглядит достаточно типичной для русских эмигрантов его поколения. Скорее всего, жизнь его осталась бы лишь строчкой на одной из не первых страниц культурной истории российского зарубежья, не соверши Михаил Бахтин свои великие открытия, радикально изменившие парадигму гуманитарного сознания в последней трети XX столетия. Те самые открытия, первые шаги на пути к которым он проделал рядом со старшим братом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Прежде всего назовем публикацию «Бесед В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным» (М., 1996). Кроме того, ценные сведения содержатся, в частности, в следующих работах: Э д ж е р т о н В. Ю.Г Оксман, М.Н. Лопатто, Н.М. Бахтин и вопрос о книгоиздательстве «Омфалос»// Пятые тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 211-244; О с о в с к и й О.Е. Неслышный диалог: Биографические и научные созвучия в судьбах Николая и Михаила Бахтиных // М. Бахтин и философская культура XX в.: Проблемы бахтинологии. СПб., 1991. Вып. 1. Ч. 2. С. 43-51; Г р и б а н о в А. Б. Н.М. Бахтин в начале 1930-х гг.: (К творческой биографии)// Шестые тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992. С. 256-262; Л а п т у н В. И. К «Биографии М.М. Бахтина»// Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1. С. 67-73; О с о в с к и й О. Е. Николай Бахтин на страницах журнала «Звено»// Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940. М., 1994. Т. 2. С. 167-181; Ф е д я к и н С. Р. Послесловие // Бахтин Н.М. Из жизни идей. М., 1995. С. 143-145; Е г о р о в Б. Ф. Общее и индивидуальное: братья Бахтины// Невельский сборник: Статьи и воспоминания. СПб., 1996. Вып. 1. С. 22-27; О с о в с к и й О. Е. Н.М. Бахтин в культуре Российского Зарубежья// Образование и педагогическая мысль Российского Зарубежья: Тезисы докладов и сообщений. Саранск, 1997. С. 83-85.

² В а c h t i n N. Introduction to the study of Modern Greek. Birmingham, 1935; В а c h t i n N. Lectures and essays. Birmingham, 1963. В 1990-е гг. были предприняты попытки представить наследие Н.М. Бахтина отечественному читателю. См., в частности: Б а х т и н Н. Философское наследие // Проблемы бахтинологии. Вып. 1. Ч. 2. С. 122-135; Б а х т и н Н. Философское наследие// Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. СПб., 1995. С. 329-353; Б а х т и н Н. М. Разложение

личности и внутренняя жизнь // Педагогика Российского Зарубежья: Хрестоматия. М., 1996. С. 120-128; Н. Бахтин — З. Гиппиус: Диалог о смерти // Гуманитарные и социальные науки за рубежом: Литературоведение: Зарубежная литература: Реф. журн. / РАН. ИНИОН. 1996. № 1. С. 100-109. Особо следует отметить составленный С.Р. Федякиным и выпущенный в свет издательством «Лабиринт» уникальный том статей, заметок и рецензий Н. Бахтина (Бахтин Н. М. Из жизни идей. М., 1995).

³ Пятые тыняновские чтения. С. 242.

⁴ Бахтин М. Автобиография // Карпунов Г.В. и др. М.М. Бахтин в Саранске. Саранск, 1995. С. 7. См. также: Конкин С.С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: Страницы жизни и творчества. Саранск, 1993.

⁵ Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge (Mass.); L., 1984. P. 17. Текст стихотворения Н. Бахтина воспроизведен в указанной выше статье Б.Ф. Егорова.

⁶ См.: Vachtin N. Lectures and essays. P. 3.

⁷ Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1. С. 68-70.

⁸ Эджертон В. Указ. соч. С. 224.

⁹ Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: Страницы жизни и творчества. С. 41; Федякин С. Р. Указ. соч.

¹⁰ Бахтин Н. Русская революция глазами белогвардейца // Бахтинология. С. 329. Речь идет об одиннадцатом гусарском Изюмском генерала Дорохова полке. По свидетельству, приведенному в воспоминаниях Ф. Уилсон, «поступать в гусары» Бахтина соблазнил Л.В. Пумпянский, шеголявший в роскошной кавалерийской форме (см.: Vachtin N. Lectures and essays. P. 3).

¹¹ См.: Vachtin N. Lectures and essays. P. 6.

¹² См.: Бахтин Н. Русская революция глазами белогвардейца. С. 340.

¹³ Vachtin N. Lectures and essays. P. 8.

¹⁴ Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 39.

¹⁵ Варшавский В. С. Незамеченное поколение. М., 1992. С. 177.

¹⁶ Адамович Г. Памяти необыкновенного человека // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1950. 24 сент. С. 8.

¹⁷ Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным.

¹⁸ Бахтин Н. М. Из жизни идей. М., 1995. С. 15.

¹⁹ Бахтин Н. Ницше и музыка // Звено. 1927. № 205. С. 5-6.

²⁰ Vachtin N. Lectures and essays. P. 132.

²¹ Бахтин Н. Вера и знание // Звено. 1926. № 155. С. 3-4.

²² См.: Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 81.

²³ Ср.: «...Религиозное "возрождение" у нас было, собственно, только возвратом к опыту немецкого идеализма и мистики. Для одних это был

возврат к Шеллингу и Гегелю, для других к Якобу Бёме, для иных и к Гёте. И усиливающееся влияние Соловьева только подкрепляло эту зачарованность немецкой философией» (Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 492).

²⁴ Бахтин Н. Вера и знание. С. 4.

²⁵ Бахтин Н. Константин Леонтьев // Звено. 1926. № 165. С. 2.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

²⁸ Бахтин Н. Пять идей // Звено. 1926. № 201. С. 2.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же. С. 3.

³¹ Цит. по: Проблемы бахтинологии. Вып. 1. Ч. 2. С. 111.

³² Волошинов В. Н. Фрейдизм: Критический очерк. М.; Л., 1927. С. 21-22. О принадлежности «Фрейдизма» М.М. Бахтину см.: Осовский О.Е. Бахтин, Медведев, Волошинов: об одном из «проклятых вопросов» современного бахтиноведения // Философия М.М. Бахтина и этика современного мира. Саранск, 1992. С. 39-54; Бочаров С.Г. Указ. соч.

³³ Бахтин Н. Мережковский и история // Звено. 1926. № 156. С. 4.

³⁴ Бахтин Н. Ф.Ф. Зелинский // Звено. 1926. № 162. С. 3.

³⁵ Там же. С. 4.

³⁶ Бахтин Н. Два облика Валери // Звено. 1927. № 6. С. 325.

³⁷ Там же. С. 328.

³⁸ Числа: Книга четвертая / Под ред. И.В. де Манциарли, Н.А. Оцуца. Париж, 1930-1931. С. 176-184.

³⁹ Бахтин Н. Измена клерков // Звено. 1928. № 2. С. 81-82.

⁴⁰ Там же. С. 85.

⁴¹ Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 636.

⁴² Бахтин Н. Разговор о переводах // Звено. 1926. № 186. С. 6.

⁴³ Там же. С. 7.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ См.: Зиммель Г. К вопросу о метафизике смерти // Логос. 1910. № 2. С. 34-49. Ср. размышления о смерти ураннего М. Бахтина в «Авторе и герое» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 92-94).

⁴⁶ Бахтин Н. Похвала смерти // Звено. 1926. № 198. С. 4.

⁴⁷ Бахтин Н. О разуме. Разговор // Звено. 1927. № 4. С. 196.

⁴⁸ Там же. С. 201.

⁴⁹ Бахтин Н. Четыре фрагмента // Звено. 1928. № 3. С. 134.

⁵⁰ Цит. по: Бахтин Н. М. Из жизни идей. М., 1995. С. 151.

⁵¹ B a c h t i n N. Lectures and essays. P. 13.

⁵² Беседы В.Д. Дубакина с М.М. Бахтиным. С. 29.

⁵³ Цит. по: B a c h t i n N. Lectures and essays. P. 15.

⁵⁴ Беседы В.Д. Дубакина с М.М. Бахтиным. С. 29.

⁵⁵ B a c h t i n N. Lectures and essays. P. 12.

⁵⁶ См.: Н. Бахтин — З. Гиппиус: Диалог о смерти.

⁵⁷ Беседы В.Д. Дубакина с М.М. Бахтиным. С. 285. См. также: Clark C., Holquist M. Mikhail Bakhtin. P. 19; Eagleton T. Wittgensteins friends// New left review. 1982. № 135. P. 64-90.

⁵⁸ Б а х т и н Н. Русская революция глазами белогвардейца. С. 329.

⁵⁹ B a c h t i n N. Lectures and essays. P. 14.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Б а х т и н Н. М. Из жизни идей. С. 140-141.